

*Происхождение индоевропейских показателей лица:
Исторический анализ и данные внешнего сравнения*
К. В. БАБАЕВ
М. – Калуга: «Эйдос». 2008. 295 стр.

А. В. ДЫБО
(Российский государственный гуманитарный университет)

Книга Кирилла Владимировича БАБАЕВА представляет собой очень сильно переработанный и расширенный вариант защищенной им весной 2008 г. кандидатской диссертации. Работа была начата под руководством С. А. Старостина, а продолжена официально под моим руководством, но хотелось бы подчеркнуть, что и окончательный выбор темы, и ряд концептуальных моментов работы еще в ее диссертационном виде автор, с самого начала показавший себя сложившимся исследователем, произвел абсолютно самостоятельно. Тема, рассмотренная в книге, безусловно, представляет значительный интерес для проблематики дальнего родства. Действительно, личные местоимения по праву входят в стословник Сводеша и зачастую при подсчетах в рамках отдаленного родства остаются единственными достоверными «плюсами», позволяющими говорить, например, о родстве айнского языка и австрических (или, при другом анализе, ностратических). Они общепринято считаются самой устойчивой и самой непроницаемой из лексических групп, и факт заимствования личных местоимений зачастую ставит в тупик специалистов по языковой конвергенции, готовых в этом случае утверждать невозможность определения генеалогической принадлежности, допустим, медновского пиджина (с точки зрения компаративиста, совершенно определенно аляторского по происхождению). Необходимость внести определенность в работу с личными местоимениями в историческом плане, расставить методологические точки над «i» побуждает с вниманием отнестись к рецензируемой работе. Ниже излагается ряд моих соображений и замечаний, из которых, я надеюсь, станет понятно, почему я, хотя и признаю, что книга **а)** написана в «правильной», т. е. классической компаративистской идеологии, **б)** является весьма полезным сводом материала и **в)** представляет ряд очень интересных и важных обсуждений по проблеме, — но не считаю, что в ней дано «полное и окончательное» решение проблемы происхождения индоевропейских личных местоимений и показателей лица, и даже что в ней получен значительный прорыв в решении тех вопросов, которые встают перед каждым «ностратическим» этимологом, когда он смотрит на морфемы со значением лица в ностратических языках.

Автор с первых страниц проявляет себя как хорошо образованный индоевропеист и ностратист, что позволяет ему прежде всего дать прекрасный подробный обзор по истории изучения личных местоимений и морфологических показателей лица в индоевропеистике и исследованиях по дальнему родству. Практически со всеми оценками работ предшественников в этом обзоре можно согласиться. Надо сказать, что выводы из этого обзора для непредвзятого читателя выглядят скорее мрачно. Действительно, в основном лингвисты, пытавшиеся заниматься глубокой историей личных местоимений и показателей лица, упираются в то, что система местоимений и местоименных показателей в конкретных языковых группах представляет чересчур скудный и трансформированный морфологическими процессами материал для строгой фонетической и лексической реконструкции. Вследствие этого они зачастую сворачивают на путь глоттогонических построений, который не подходит для сравнительно-исторического языкознания из-за отсутствия доказательности в рамках компаративистской процедуры.

Но автор не склонен к унынию. Он полагает, что улучшить ситуацию (ввести какие-то добавочные доказательные аргументы в построение) можно, обратившись к типологии языков мира. Этот способ расширения доказательной базы уже неоднократно предлагался в индоевропеистике (прежде всего, в книге [ГАМКРЕЛИДЗЕ, ИВАНОВ 1984]); автор рецензируемой работы считает, что, оперируя строго типологией языковых изменений (а не просто синхронной типологией) и придерживаясь при этом общих принципов диахронического анализа, он сможет сильно уточнить результаты исследования.

Действительно, ему удастся вполне разумным образом привлечь обширную имеющуюся к настоящему времени литературу по типологии грамматики, на основании которой он прежде всего пытается построить исчисление различных возможностей происхождения для различ-

ных морфем с личным значением. Сразу оговорю, что качество этого исчисления меня не удовлетворяет, я думаю, из-за многочисленных недочетов, свидетельствующих о плохом знакомстве с формально-грамматической теорией. Не совсем ясно, только ли это свойство автора, хорошо образованного как диахронист и типолог, но недостаточно образованного как грамматист, или даже уже свойство и той типологической литературы, на которую он опирается.

Недочеты этого типа появляются уже во введении, в подразделе о применении типологии в диахроническом исследовании. Здесь они не влияют на идеологию работы, в целом, повторю, производящую весьма положительное впечатление. Тем не менее, неточность выражения грамматических мыслей в работе, посвященной дальнему родству, я бы считала опасной в том плане, что она может запутать и даже отвратить от предмета обсуждения не вполне компетентного читателя. На с. 31 видим рассуждение об общепринятом среди лингвистов-теоретиков мнении, что существует фундаментальная разница между первым и вторым лицом, с одной стороны, и третьим, с другой. Цитата: «Эта разница обычно объясняется тем, что первое и второе лицо обозначаются личными показателями, в то время как третье лицо в языке может быть выражено любой именной лексической единицей». Взгляд на вещи очень наивный: наоборот, постулируемое глубокое семантическое различие между лицами, задействованными в дискурсе, и «третьим», незадействованным лицом теоретики полагают, в частности, причиной того, что для выражения 1-го и 2-го лиц языка развивают специфические лексические единицы, в то время, как для третьего лица зачастую специфическое личное местоимение, отличное от указательных, отсутствует.

В 1-й главе производится упомянутая попытка построить исчисление возможностей происхождения морфем с личным значением. Сразу отмечу, что автор, кажется, напрасно называет объект своего исследования личными показателями. Для слова «показатель» в лингвистике зарезервировано значение «грамматический показатель», то есть не «лексема», а «грамматическая морфема» (в аналитической конструкции может и не входить в состав словоформы). Личные местоимения, которые автор включает в класс «независимых личных показателей»¹, как и другие местоимения, являются лексическим классом, принадлежность к которому определяется их семантикой (шифтеры различного рода), а не грамматическим (морфологическим или синтаксическим) поведением: грамматически в тех языках, где есть такой грамматический класс (это, видимо, все известные на сегодняшний день языки, кроме разве что древнекитайского²), они принадлежат к классу имен либо субстантивов. То есть, они имеют тот же набор грамматических категорий, что и другие субстантивы. При этом в ностратических языках они часто образуют специфические парадигматические классы (например, особые типы склонения), но это все же не влияет на их грамматическую характеристику. Далее К. В. БАБАЕВ пишет (с. 34–35): «Утверждения о том, что выражение 1-го и 2-го лица является языковой универсалией, по-видимому, верны. Вопрос лишь в том, являются ли их выразители в языке лексическими или обособлены в отдельный класс в системе морфологии. По этому критерию языки мира можно смело разделить на два чётких типа по способу выражения — лексические и грамматические. В первом случае морфология языка не содержит отдельного класса показателей лица (то есть личных местоимений), однако понятия «я», «ты» как в единственном, так и в других числах выражаются с помощью полнозначных лексических единиц. Таким образом, широко распространённая точка зрения о существовании языков, не содержащих личных показателей, неверна, так как подменяет понятия: да, безусловно, существуют языки без личных местоимений, но языков без средств выражения категории лица — не существует». Так вот, языков без выражения категории лица, действительно, не существует, но неправ будет тот читатель, который подумает, что с категорией лица по языкам все обстоит не так, как с другими потенциально грамматическими категориями, которые в части языков действительно являются грамматическими, а уж в тех языках, где соответствующей грамматике для них не нашлось, выражаются лексически. И категория лица также кое-где выражается грамматически, а в остальных языках выражается лексически, то есть с помощью специфического класса лексем со значением лица, то есть личными местоимениями (в японском, например). Для синхронно-типологической характеристики языка не имеет никакого значения этимологический аспект, то есть, из слов с каким зна-

¹ Называя их синтаксически независимыми, автор допускает небрежность выражения. Они, конечно, синтаксически зависимы от предиката, выражая падежные роли. Имелось в виду, по-видимому, «грамматически независимые», то есть то, что они присутствуют в предложении не в составе словоформы, а как самостоятельные словоформы. Вообще-то для этого существует традиционное выражение «лексические» (другие способы выражения категории, соответственно, — грамматические).

² См. [СТАРОСТИН 2007: 499; 504–513]; [СТАРОСТИН 1993: 93; 98–107].

чением образованы эти личные местоимения. Несомненно, приводимые автором тайские фразеологизованные сочетания с внутренней формой «волос головы» и «низ ноги» (или скорее «под ногой»), служащие для выражения 1-го лица в разных регистрах респективности, являются тайскими личными местоимениями в традиционном (то есть семантическом) понимании этого слова³, вопреки замечанию автора на с. 36; они не выглядят личными местоимениями только для «ограниченного» индоевропейца, который ожидал бы, что это будут слова с давно затертой внутренней формой и предпочтительно с отдельным типом склонения (в тайском, впрочем, и вообще нет типов склонения) — но ему точно так же не понравится в качестве местоимения и японское ワタ *watákúsi*.

Соответственно, процесс, который привел к образованию этих тайских личных местоимений, а также яп. ワタ *watá(kú)si*, вопреки мнению автора на с. 41–46, не процесс грамматикализации, а процесс лексикализации (иногда универбации). Отсюда классификация типов происхождения морфем с личным значением должна в первую очередь выделять две группы: происхождение лексем, выражающих лицо, и происхождение морфологических показателей лица. Лексемы, выражающие лицо, в свою очередь должны делиться на личные местоимения, притяжательные и возвратные. Этимологии слов, относящихся ко всем этим группам, должны рассматриваться по отдельности. Вот опыт такой классификации «навскидку» по материалам, приведенным в книге.

Известные автору книги случаи прозрачного происхождения личных местоимений, соответственно, разбиваются на следующие:

1. из отдельных лексем-субстантивов с не-шифтерной семантикой:

1-е л.: *тело, лицо, существо, жизнь, основной (основа), раб, слуга*

2-е л.: *господин, хозяин, остальной;*

3-е л.: *вещь, человек, мужчина, тело;*

Примеры приведены К. В. БАБАЕВЫМ на с. 42, со ссылкой на [СУНИК 1978]⁴ и [HEINE – KUTEVA 2007]; следует заметить, что этимология нилосахарского языка нгити явно не настолько хорошо развита, чтобы уверенно говорить о том, что личное местоимение 1-го л. *le* действительно этимологически тождественно существительному *ale* ‘человек’, как утверждает в работе [HEINE – KUTEVA 2007], некритично цитируемой автором, а не имеет совершенно другое происхождение⁵. К сожалению, убедительных примеров на такое происхождение местоимений автор не приводит, но, например, список субститутов личных местоимений в корейском, приводимый в [РАМСТЕДТ ГКЯ: § 101], не противоречит приведенному. Так что можно считать, что значение личного местоимения действительно может возникать из таких значений, т. е. с помощью тропов. Вопросом для меня остается, нельзя ли все эти случаи считать эллиптическими (с эллипсисом притяжательного местоимения или показателя, уместным внутри дискурса) по отношению к случаю ниже в п-те 4. Отдельно отмечу, что к этому пункту не имеет отношения ошибочное рассуждение автора там же о том, что в качестве маркеров лица широко используются собственные имена. Конечно, слово *Ахмед* в выражении *Ахмед сделает*, даже если его произносит Ахмед, не маркирует лица. Лицо — шифтерное значение, а соотношение между словом *Ахмед* и его денотатом не меняется в зависимости от того, какой из участников дискурса его произносит. Именно поэтому и происхождение личного местоимения из имени собст-

³ И, по-видимому, экстремистским следует признать принимаемое автором утверждение Дж. Кука о том, что в тайском языке не существует «обычных» (т. е. с затертой внутренней формой) местоимений, ср. в кн. «Тайский язык» ([Морев и др. 1961]) на с. 89–90, где приведен ряд вполне деэтимологизованных личных местоимений, хотя и говорится, что употребляются они редко. Кстати, фразеологизованное сочетание เกล้ากระผม *klàw-krâ-p'hóm*, которое переводится Куком как «волос головы» = «я», в действительности содержит в себе композит с личным местоимением ผม *p'hóm* «я», букв. «волос головы меня», т. е. этот случай «происхождения» личного местоимения относится к другому классу, чем думает автор.

⁴ Почему-то при группе слов 1-го л.; в статье О. П. Суника разбирается происхождение возвратных местоимений, которые сами могут принимать личные показатели и тогда значат «я сам», «ты сам» и «он сам», — в частности, из лексем типа «тело»; мимоходом на с. 265 справедливо критикуется попытка А. Ф. Бойцовой возвести ТМ местоимение *мэн* «сам» к *бэжэ* «тело» — и это единственное место, которое могло бы быть принято автором книги за разговор о происхождении местоимения 1-го л. от полнозначного существительного, если он принял ТМ *мэн* за омонимичное тюркское *мэн* «я»; больше нигде в статье о происхождении местоимений 1-го л. речи нет, есть только сопоставления их грамматического поведения с поведением указательных и возвратных местоимений.

⁵ Это как раз весьма распространенная ошибка у типологов, занимающихся грамматикализацией, — некритическое отношение к материалу, который берется из вторых-третьих рук. Но у автора рецензируемой книги — по образованию и области интересов прежде всего компаративиста — хотелось бы видеть большую осторожность в таких случаях.

венного кажется теоретически невозможным — если только это не местоимение третьего лица (по всему, что говорилось раньше, не вполне личное местоимение), восходящее к неопределенно-личному, для которого можно себе представить источник в виде личного имени вроде санскр. *Devadamma* — абстрактный герой буддийских притч, стандартный контрагент Будды.

2. Из возвратных и под. местоимений:

сам, — в действительности, конечно, с личными показателями: «я сам», «ты сам» и под. (а вовсе не как специфический источник местоимения 1-го лица, как полагает автор). Такие сочетания могут употребляться для выражения лица в предложении эмфатически; при стирании эмфазы они должны становиться просто личными местоимениями. Примеров автор не приводит, но такие случаи известны, ср. т. наз. «усилительно-личные» местоимения в мордовском, которые успешно вытесняют простые личные. Подобным же образом получились исп. *nosotros, vosotros* — первоначально эмфатические сочетания личного местоимения с «неопределенным» *otros* ‘другие’.

3. Из указательных местоимений:

Убедительных примеров автор не приводит. Баскаковский пример с образованием тюрк. *ben* ‘я’ из *bu-nuñ* ‘этот-Gen.’, конечно, неверен, как и предполагаемая Дельбрюком связь лат. *tibi* с скр. *tam* и пр. (с. 43–35); случаи яп. 此の方 *kònó’ hō* ‘эта сторона’ = ‘я’ и арм. *ut̕nu tēr-ʻs* ‘этот господин’ = ‘я’ относятся к следующему классу. С некоторой натяжкой сюда можно отнести происхождение местоимения 2-го лица вежливой формы из местоимения 3-го лица — как в нем. *Sie* ‘Вы’ из ‘они’ и у Лессинга *Er* ‘Вы’ (по отношению к слуге, вообще к низшему) из ‘он’; поскольку местоимения 3-го лица обычно восходят к демонстративам, такое умозаключение возможно.

4. Из сочетаний лексем-субстантивов с не-шифтерной семантикой с а) указательными местоимениями или местоименными показателями (яп. 此の方 *kònó’ hō* ‘эта сторона’ = ‘я’ и арм. *ut̕nu tēr-ʻs* ‘этот господин’ = ‘я’), б) притяжательными местоимениями или местоименными показателями (исп. *Usted < Vuestra merced* ‘Ваша милость’ и под.). Сюда же, наверное, стоит относить и «косвенные падежные формы» личных местоимений в венгерском, представляющие собой по внутренней форме притяжательные формы от послелогов, восходящих, в свою очередь, к существительным с пространственным значением.

По-видимому, отдельной разновидностью этого типа следует считать случаи типа тайского ใต้เท้า *tàj-tʰǎw*, букв. «(тот, что) под ногой», местоимение 1-го л. в почтительном регистре: это сочетание, скорее всего, содержит эллипсис личного местоимения, означающего принадлежность 2-му лицу, уместный внутри дискурса (например, ใต้เท้าพານ် *tàj-tʰǎw pʰón-tʰǎn*, где พาน် *pʰón-tʰǎn* — местоимение 2-го лица, употребляемое при обращении к высшим чиновникам, по происхождению — композит существительного с местоимением 2-го лица พาน် *tʰǎn*).

5. Из отдельной предикации, содержащей словоформу глагола с бытийным/связочным/каким-то еще энциклопедически относительно пустым значением в форме соответствующего лица; т. е. с исходной формой типа «будучи мной» или «что касается меня». Примеры приведены Бабаевым на с. 46 (семитские языки — со ссылкой на [Орел 1990], кушитские, омотские, айнский — со ссылкой на [SIEWIERSKA 2004: 255–260]); лишним является здесь указание на употребление вспомогательного глагола «быть» в рамках личной глагольной словоформы — как в бедауйе, так и в (старо)польском *padleśm*; это классификационно совсем другой случай, происхождение грамматического показателя, который, очевидно, перед тем не успел побывать личным местоимением — см. ниже.

Известные нам случаи происхождения грамматических личных показателей, со своей стороны, разбиваются на следующие (ср. подробную и не вызывающую возражений историю вопроса, которую К. В. Бабаев дает во 2-й главе, с. 66–80):

1. Самый обширный случай — из личных местоимений (можно предполагать при этом, что такое может случиться и с личными местоимениями, возникшими в одном из указанных выше случаев). Здесь необходима более подробная классификация, так как разные типы показателей могут (и должны) происходить из разных форм личных местоимений, поскольку словоформа с показателем, очевидно, должна формироваться из сочетания основной словоформы со словоформой личного местоимения, а они могли находиться в разных синтаксических отношениях, по крайней мере, в случаях притяжательности и личного согласования. Если мы будем говорить только о личных показателях предикации, то просматривается четыре основных потенциальных типа возникновения.

1) Из личной формы глагола-связки, прицепленной к именной форме смыслового глагола [старопольск. *padleśm* (1-е л. ед. ч. перфекта) «я упал» = *padł* (причастие прош. вр. от «пасть»)]

+ *eśm* (ПСл. **esť*, 1-е л. ед. ч. глагола «esse»)⁶]; происхождение этой личной формы глагола-связки, соответственно, может быть возведено к одному из следующих случаев.

2) Из прямой формы личного местоимения (т. е. формы подлежащего) — при стандартной диатезе (подобным образом возникают личные показатели большинства глагольных форм и именных сказуемых в тюркских языках: *-*ben*, *-*sen*, *-*ol/-θ*, *-*biz*, *-*siz*, *-*θ* в общетюркском, аффиксы первого лица *-*bi*, *-*bir* в чувашском (остальные лица замещены аффиксами принадлежности вследствие аналогических процессов); в части монгольских языков: бур. -*б* (**bi* ‘я’), -*ш* (**či* ‘ты’), -*бди* (**bide* ‘мы’), -*м* (**ta* ‘вы’) и т. д.).

3) Из косвенных форм личного местоимения (т. е. различных дополнений) — при трансформированной диатезе (примеры теоретически мыслимы в языках с вторичной эргативностью; ср. в мунджанском личные показатели в прошедшем времени от переходных глаголов (т. е. с эргативным типом построения предложения), восходящие к клитическим формам дательного падежа личных местоимений: ед. ч. 1-е л. -*əm* < **mai*, 2-е л. -*ət* < **tai*, мн. ч. 2-е л. -*āf* < **vah*, поскольку в целом конструкция восходит к древней пассивной *ima mai kartam* ‘то у меня/мною сделано’, см. [ЭДЕЛЬМАН 1990: 109]).

4) Из притяжательного местоимения (которое может формально быть отыменным прилагательным от личного местоимения) или атрибутивной формы (родительного падежа) личного местоимения. По-видимому, при этом смысловой глагол должен выступать в форме имени действия (тогда его первый актанта естественным образом трансформируется в атрибут) — или из показателя притяжательности, который теоретически может развиться из этих источников. Ср. употребление масдара на -*dlǵ* в качестве сказуемого в турецком предложении: *En kötü şey bizim uzun zaman yaz-ış-ma-dıǵ-ımız* «самое плохое — то, что мы долгое время не переписывались», букв. «самая плохая вещь наше долговременное (взаимное) не-писание» (не-писание с афф. принадлежности 1-го л. мн. ч., который отличается и от афф. сказуемости — -(y)*Iz*, и от собственно глагольного афф. 1-го л. мн. ч. -*Ik*). При определенном типе синтаксического развития такая конструкция может стать основной в языке, и тогда можно ожидать, что бывшее посессивное окончание станет стандартным показателем лица у сказуемого.

Кроме того, в системе личных окончаний могут происходить аналогические унифицирующие перестройки, которые смешивают в одной подсистеме окончания различного происхождения и иногда гибридируют их. Очень хорошо видны такие (еще относительно недавние) процессы, например, в системах личных показателей современных огузских диалектов (см. [ДЫБО 2007]). О подобных же развитиях в новоиранских языках пишет и Дж. И. ЭДЕЛЬМАН ([ЭДЕЛЬМАН 1990]).

2. Что касается возникновения личных показателей из других источников, возможность рассмотрена у П. Хайду ([Хайду 1985: 329]). Правдоподобным из рассмотренных случаев могло бы показаться разве только происхождение финских окончаний 3-го л. из суффикса причастий, встроившихся в глагольную парадигму, распространяющегося впоследствии на не-причастные по происхождению формы. Остальные случаи (венг. -*k* 1-го л. ед. ч., для которого предлагали происхождение из показателя мн. ч. и из именного суффикса; -*sz*, -*l* 2-го л. ед. ч., которые, скорее, являются временными показателями) сам Хайду считает сомнительными.

Конечно, эта наша классификация не претендует на полноту; жаль, что автор книги, специально задававшийся такой классификационной задачей, раз уж он решил ввести типологические обоснования в свою реконструкцию, не эксплицировал ее в первой главе примерно в таком виде, что значительно облегчило бы дальнейшую верификацию его гипотез⁶.

⁶ Автор дважды в этом разделе говорит о польском *chodzileśm*, но это старопольская форма, современная — *chodźilem*. В польском показателе в описываемой парадигме —

-(e/a/o по родам: м./ж./ср.)- <i>m</i>	-(i/y по категории «мужского лица»): лично-м./не-лично-м.)- <i>śmy</i>
-(e/a/o)- <i>ś</i>	-(i/y)- <i>ście</i>
-(θ/a/o)- <i>θ</i>	-(i/y)- <i>θ</i>

Видно, что это — не рефлексы ПСл форм глагола ‘esse’ (было бы (*e*)*śm*, (*e*)*ś*, (*e*)*st/śc* по диалектам, как это было в XV веке), а попросту те же окончания, что и в современном спряжении этого глагола в презенсе, *jestem*, *jesteś*, *jest*, *jesteśmy*, *jestescie*, *sq*. То есть, это окончания, перенесенные из форм глагола-связки, а вот в глаголе-связке это окончания, сложным путем полученные из скрещивания атематической системы окончаний (как в *wiem*, *dam*) и старых форм глагола-связки (*e*)*śm*, (*e*)*ś*, (*e*)*st*. Последовательность переходов прослеживается исторически: сначала в памятниках появляются формы типа *jestem* (унификация в рамках атематического спряжения, которая, впрочем, далеко не заходит), а потом формы типа *padleśm* заменяются на *padlem*. Приходится отметить, что недоразобранность подобных примеров может создать впечатление недостоверности всего изложения, хотя понятно, что по большому счету автор правильно излагает основные положения теории грамматикализации.

Во второй главе К. В. Бабаев рассматривает историю реконструкции и различные гипотезы происхождения индоевропейских личных показателей. Изложение практически безупречно; отметим только пару словесных неточностей.

С. 52. «Антуан Мейе, один из наиболее ярких представителей младограмматической школы индоевропейского сравнительного языкознания...». Все-таки А. Мейе — представитель французской социологической школы, восходящей к Ф. де Соссюру, хотя и овладевший приемами младограмматиков.

С. 61. «...В индоевропейском праязыке произошел окончательный переход к флективному синтаксическому строю» — следует читать «к флективному морфологическому строю».

Главы 3 и 4 посвящены собственно основной теме работы. Это реконструкция показателей соответственно первого и второго лица для праиндоевропейского состояния. Следует помнить, что под «показателями», в соответствии со словоупотреблением 1-й главы, здесь автор подразумевает местоименные корни, а не конкретные грамматические показатели. Известно, что для индоевропейского языка периода распада восстанавливается разветвленная система личных глагольных показателей, подсистемы которой распределены по грамматическим видо-временным подсистемам, а также — в презенсе — лексически. Кроме того, для того же периода явно можно восстанавливать личные местоимения обоих (или трех) чисел, с супплетивными парадигмами склонения (все эти реконструкции подвергнуты обзору во 2-й главе книги). К. В. Бабаев пытается выделить единый местоименный корень из всех парадигм каждого лица и кроме того установить, какой набор этих местоименных корней функционировал в праиндоевропейском. Соответственно, его задача относится не к праиндоевропейскому языку периода распада, а к более раннему языковому состоянию и может решаться в основном с помощью метода внутренней реконструкции.

Предложенное в книге решение весьма правдоподобно, но остаются недоисследованными несколько моментов. Автор очень (чрезмерно, на мой взгляд) решительно предполагает для общеиндоевропейского состояния малопадежную систему, оставляя образование большей части падежей для периода распада на отдельные диалектные группы. Понятно, что эта гипотеза не особенно доказательна. Например, аблатив на **-d* трудно считать явлением, возникающим в отдельных диалектных группах (или имеется в виду распад на анатолийскую и собственно индоевропейскую группы? но и в анатолийской группе явный след такого аблатива *-aza*, как, впрочем, и большинства других падежей). Конечно, можно предположить параллельное развитие аблатива во всех диалектных группах из локативной частицы, но вообще-то сравнительное языкознание стремится избегать таких предположений. Кроме того, такое предположение приводит автора к некоторым построениям, противоречащим типологическим постулатам. Например, известно (считается типологией), что обычно личные местоимения в отдельно взятом языке имеют больше разных падежных форм, чем другие субстантивы (ср. современный английский или французский языки). Автор же восстанавливает в праиндоевропейском систему с двумя падежными формами, объектной (общекосвенной) **me* и притяжательной (генитивной) **me-ne* (плюс еще форма множ. ч. **mes*). Такая система очень хорошо «опускается» в праностратическую реконструкцию (для согласования с которой еще В. М. Иллич-Свитыч восстанавливал в праиндоевропейском **me* 'я' и **me-ne* косвенную форму, т. е. формы, практически изоморфные реконструируемым К. В. Бабаевым, см. [Иллич-Свитыч 1971: 6]), что является ее несомненным достоинством. Но, чтобы объяснить другие падежные формы в языках-потомках, автору приходится предполагать, что парадигма местоимения развивалась по аналогии с субстантивной парадигмой и, например, получила из нее окончания винительного **-t* и аблатива, что значит, что в какой-то момент парадигма обычных субстантивов содержала больше падежных форм, чем местоименная. Между тем, по традиционным представлениям, ближе к исходной субстантивной парадигме набор окончаний консонантного типа склонения, а тематический тип, вслед за прилагательными, приобрел отличающие его оконча-

⁷ В дальнейшем верификация происхождения некоторых личных местоимений с помощью типологии семантических переходов производится в работе в следующих случаях: др.-яп. *mi* 'я' сравнивается с омонимичным др.-яп. *mi* 'тело' (с. 97; здесь уместна была бы ссылка на [ITABASHI 1998: 129], где как раз обсуждается происхождение др.-яп. 自 *mi* 'я' — как специализации значения 自 *mi* 'сам' — из др.-яп. 身 *mi* [совр. *mi*] 'тело'); для ностр. **mV* 'я' осторожно предполагается происхождение от ностр. **menV* 'сам, тело' (с. 113–114); для ностр. **qV* 'я' — вслед за А. Б. Долгопольским — происхождение от слова со значением 'сам' (с. 136–137); для ИЕ **ius* 'вы' — сочетание демонстратива **i* с местоимением 2-го л. мн. ч. **us* (с. 208); ностр. местоименная основа **nV* возводится к показателю косвенной основы **nV*, или, вместе с ним, к **nV* 'сторона' (с. 215). Несомненно, все эти этимологические гипотезы вполне логичны и имеют право на существование.

ния из местоименной парадигмы, то есть предполагается обратная направленность процессов. В общем, я готова согласиться с реконструкцией для какого-то раннеиндоевропейского состояния именно такой парадигмы местоимения 1-го л., как предполагает К. В. БАБАЕВ, но для ее доказательства кажется необходимой значительно более подробная проработка вопроса о путях появления засвидетельствованных и реконструируемых позднеиндоевропейских систем.

К. В. БАБАЕВ вполне правомерно выделяет в индоевропейской парадигме склонения личного местоимения 1-го л. косвенную основу **me-*, но, например, насколько правильно считать **te* основной объектной (т. е. винительного падежа) формой, неясно; в свете общей структуры индоевропейской местоименной парадигмы вполне возможно, что это усеченная клитическая форма, а старым винительным была, например, форма с окончанием **me-(e)m* (как полноударное ПСлав. **me*, впоследствии встроившееся в подпарадигму клитик, а в подпарадигме полных местоимений замененное на вторичное **menē* — см. [ДЫБЬ 1971]). Клитические формы, наряду с полными, имеются и в «общеиндоевропейской», и в анатолийской местоименной парадигме, и в книге не проведено обоснование, например, такого положения, что клитические формы парадигм в зафиксированных языках представляют собой архаичные словоформы, а полные — инновационные. Напротив, остается не опровергнутым возможное предположение, что клитические формы — фонетически усеченные полные (при возможности того, что впоследствии клитическая форма в отдельных парадигмах могла вытеснить полную, от нее могли образоваться инновационные падежные формы, от которых могли произойти новые клитические формы). Автору удается обосновать выделение *-m-* как общей неизменяемой части глагольных окончаний 1-го л., но уже с обоснованием того, что первичная форма личного окончания 1-го л. мн. ч. — **me-s* или **-mo-s* (или, если считать *-s* инновационным показателем мн. ч. из субстантивной парадигмы, как и греко-хеттское **-n-*), все не так просто. Встречающиеся в славянских диалектах окончания *-me* и *-mo* — предмет бурной полемики славистов, поскольку они не являются закономерными фонетическими наследниками **-mos* и к тому же встречаются в основном в диалектах, для которых зафиксировано нестандартное поведение слабого ера. Соответственно одни слависты считают их диалектными фонетическими вариантами ст.-слав. *-mъ* < **-mos*, другие — потомками других форм индоевропейских окончаний. Автор никак не выражает своего отношения к этой проблеме и, по-видимому, считает *-mo* потомком **-mos*, *-me* потомком **-mes*, а про глагольные окончания *-mъ* и *-мы* вообще ничего не пишет.

Что касается обоснования того, что «агглютинативная» форма **me-s* — архаическая для индоевропейских языков форма личного местоимения множ. ч., то для этого требуется доказать вторичный характер другой возможной прямой (номинативной) формы мн. ч., **yei* (такая форма восстанавливается по германскому и индоиранскому материалу и не противоречит хеттскому и тохарскому). Это доказательство подробно проведено еще в книге О. СЕМЕРЕНЬИ ([СЕМЕРЕНЬИ 1980: 232–233]); в рецензируемой работе оно повторено и несколько расширено за счет добавления разбора тохарского материала и случаев употребления клитической версии этой основы в глагольных окончаниях. Предполагается, что это — первоначально аналитическая форма двойственного числа, происходящая из числительного **dye-*. Сильным аргументом против вторичности этого местоимения кажется все же его наличие именно как формы множественного числа в анатолийской и тохарской группах, как наиболее рано отделившихся. К. В. БАБАЕВ пытается оспорить этот аргумент следующим образом (с. 163): «...Единственным языком, где **we* не засвидетельствовано в двойственном числе, является хеттский, где этого числа не существовало вовсе. Так как существует множество языков, где **we* функционирует в дуалисе и плюралисе, или же только в дуалисе (на самом деле такова только балто-славянская группа — А. Д.⁸), но нет ни одного, где он был бы только в плюралисе, можно считать доказанным, что первоначальным значением основы было именно значение двойственности, позже перенесенное на множественное число. И возражение о том, что морфологическое двойственное число, как полагают, развилось в индоевропейском только после выделения анатолийских диалектов, здесь не играет роли; значение двойственности может выражаться в языке синтаксически, причем очень тривиально: с помощью числительного *два*». Но задумаемся над тем, каким образом местоимение со значением двойственности может начать выражать множественное число — причем в наиболее далеко разошедшихся между собой диалектах. Для этого нужна либо хорошо развитая морфологическая категория двойственности, подпарадигма двойственного, прочно встроенная в систему именных парадигм и потому получившая возможность влиять аналогическим путем на подпарадигму множественного

⁸ Косвенным указанием на вторичность такого положения в балтославянском может служить как раз литовское *vėdu* < **ye-* + числительное «два», т. е. в дуалисе потребовалась специальная маркировка двойственности.

числа: тогда приходится предполагать, что все-таки в праиндохеттском периода распада было грамматическое двойственное число (хотя, конечно, на более раннем этапе оно могло возникнуть из числительного — но этот этап можно получить только с помощью внутренней реконструкции и надежно подтверждался бы он только в случае абсолютной невозможности получить внешние, ностратические параллели для **uei* как местоимения 1-го л., каковая невозможность — забегая вперед — все же осталась недоказанной в книге К. В. БАБАЕВА); либо надо предполагать для праиндохеттского состояния периода распада развитую категорию инклюзивности, которую также в принципе может выражать форма, образованная от числительного *два* (т. е., практически как предложено в [ГАМКРЕЛИДЗЕ, ИВАНОВ 1984: 254]), затем падение этой категории в одних языках (в анатолийской группе — при этом вытесняется старое эксклюзивное — при такой конструкции — **mes*) и преобразование ее в категорию двойственного числа в других языках (в праобщеевропейском?). Но эта конструкция у К. В. Бабаева не рассматривается, а на с. 159 (по поводу семантики местоимения **ne*) прямо утверждается: «В индоевропейских языках категория эксклюзивности/инклюзивности не имеет доказательной базы». В общем, для того, чтобы устранить из восстанавливаемых для праиндоевропейского местоименных корней 1-го л. **uei*, автор должен был бы проделать значительно более подробное построение, демонстрирующее не только тот набор, который восстанавливается для сравнения с ностратическими параллелями, но и как из этого набора получают позднейшие системы. Наличие же фонемы **u* в составе основы местоимения 2-го л. мн. ч. (которое автор рассматривает, вслед за О. СЕМЕРЕНЬИ, в качестве аргумента на с. 164) совершенно не мешает архаичности **uei* — ср. среднекорейское *nà* ‘я’ и *nə* ‘ты’, происшедшие, судя по всему, из разных местоимений с разными начальными согласными. Так что при разрешении проблемы трех потенциальных праиндоевропейских местоимений 1-го л. мн. ч. — основной проблемы, разрешаемой в главе 3 — достаточно очевидным образом К. В. БАБАЕВУ удается продемонстрировать только, что основная зона употребления индоевропейского **ne* — это не специфическая эксклюзивность или инклюзивность, а косвенные формы местоимения 1-го л. мн. ч., что как раз очень хорошо согласуется с его внешними соответствиями (с. 147–159). Продемонстрировано также, что гипотеза о связи **nV* с инклюзивностью/эксклюзивностью в рамках ностратического сравнения не подтверждается, зато довольно хорошо видно, что оно тяготеет к косвенным формам. Что же касается **uei*, то его исключение из местоимений 1-го л. осталось не до конца убедительным. Сопоставления А. Б. Долгопольского из области семито-хамитских местоимений, действительно, не выглядят слишком надежными; спорно и собственно местоименное сопоставление с картвельским **čwen-*, которое не очень пока понятно, как членится морфологически, но общекартвельский субъектный префикс 1-го л. ед. и мн. чисел **w-*, почему-то не попавший в этимологию А. Б. Долгопольского, очевидным образом напрашивается как параллель.

К числу достоинств этой главы следует также отнести более доскональную, чем у предшествующих авторов, проработку этимологии ностр. **qV*, в которой значительно увеличен привлекаемый материал и семантические обоснования. Не вполне завершенной, тем не менее, оказывается реконструкция системы праностратических местоимений 1-го л. в отношении их синтаксических/семантических свойств; и здесь также, на мой взгляд, сказывается пренебрежение «обратным ходом» реконструкции — построением вывода наличных систем из реконструированной, что, по крайней мере, для обоснования морфологических реконструкций, по-видимому, совершенно необходимо. На с. 92 книги об индоевропейском независимом личном местоимении **me* сначала говорится: «На основании сравнения глагольной системы, где оно выступает в неперфектной парадигме, и местоименной системы, где в ед. ч. оно фигурирует в косвенных падежах, его праязыковым синтаксическим значением должно являться значение первого лица субъекта переходного глагола действия». Вывод был бы совершенно непонятен, если не вспомнить, что К. В. БАБАЕВ допускает первичную активность/эргативность праиндоевропейского. В эргативном языке «косвенная» основа может выражать субъект переходного глагола, приняв форму эргатива. А в следующем абзаце мы видим: «Таким образом, на индоевропейском праязыковом уровне показатель 1-го л. **m-* мог функционировать в качестве независимого полнозначного объектного местоимения». Конструкция, в которой одна и та же форма местоимения является выразителем субъекта переходного глагола и его же объекта, совершенно определенно не согласована. К тому же получается, что по глагольным показателям неперфектная (т. е. предположительно не-стативная) серия совпадает с косвенной основой местоимения, а перфектная (стативная) серия — с прямой основой местоимения (ларингальной). Действительно, в известных мне эргативных языках личное согласование глагола обычно происходит по субъекту, т. е. у переходного

глагола с эргативом, у непереходного — с номинативом. Но на с. 100 говорится: «На пракарт-вельском уровне просматривается аналогичное индоевропейскому, уральскому и алтайскому распределение основ: *me* в функции прямого падежа и **me-n(V)* в функции косвенного падежа». Что касается уральского и алтайского, это, пожалуй, действительно так, но для индоевропейского **me-* — косвенная основа, а **mene* — генитив. При этом автор решительно и, по-видимому, совершенно справедливо утверждает, что для праностратического эргативный строй не восстанавливается, а восстанавливается аккузативный (с. 237–238). Тогда приходится предполагать, что по пути от ностратического к индоевропейскому язык дважды поменял синтаксический строй, сначала развил эргативность, а затем из нее — опять номинативность/аккузативность; это возможно, но кажется маловероятным, чтобы при этом отношения прямых и косвенных форм местоимений остались прежними. При этом для праностратического состояния К. В. БАБАЕВ восстанавливает местоимение первого лица **qV* со значением показателя субъекта при интранзитивном глаголе, а местоимение **me* характеризует как показатель субъекта при транзитивном глаголе (с. 169–172). Но ведь именно наличие подобных специфических маркировок — субъект интранзитивного глагола, противопоставленный субъекту транзитивного глагола — и определяет эргативный или активный строй языка — значит, праностратический все же эргативен? Налицо явное противоречие или недостратифицированность реконструкции, которой автор не уделяет никакого внимания, что не на пользу общей фундированности концепции.

Частные замечания. С. 99. О личных показателях в глагольных формах части монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, как восходящих к именительным падежам личных местоимений: автор ссылается на [SINOR 1988]; лучше было бы здесь отнестись к [PORRE 1955] и [BENZING 1955], где действительно доказательно продемонстрировано происхождение этих аффиксов.

С. 103: говорится про ПА **män-* и его роли для реконструкции ПН **mä-* или **me*. Но **män-* — только праторкская форма косвенной основы, прямая основа по тюрк., монг. и ТМ материалу дает **bi*, вообще же восстанавливается чередование **bi / *mi-ne-* (sing.) ; **ba / *mju-n-* (plur.) (см. [EDAL]).

С. 123. О восстановлении ностратического показателя 1-го л. **q-*: «Несмотря на отсутствие соответствий такого рода в классических трудах по ностратике ([Иллич-Свитыч 1971: 147–150], [DOLGOROLSKY 1998: 115]), в последнее время исследователями все чаще приводятся данные в пользу подтверждения системного соответствия между индоевропейскими ларингалами и глухой велярной фонемой **k* других ностратических языков». Такое соответствие есть в [Иллич-Свитыч 1971: 149], это, например, ПН **-q-*, которое К. В. БАБАЕВ и восстанавливает для этого местоимения, вслед за Е. А. Хелимским ([Хелимский 1979: 17–18]). С. 135, об этом же соответствии: «Фонетический переход ларингального в велярный и обратно — частое типологическое явление в языках мира». Но здесь нет речи о переходе ларингального в велярный или наоборот, речь о развитии увулярного (а не велярного) в одних языках в ларингал, в других — в велярный; тоже вполне обычное развитие.

С. 141: о реконструкции ПИЕ местоимения 1-го л., прямой формы: «...Основной согласный местоимения **egho(m)*, который может быть восстановлен ... как **gʰ* на основе индоиранских и балтославянских форм, либо как **gʷ* на основе форм германского, латинского и греческого». Никак нельзя восстанавливать **gʰ* на основании как минимум славянских форм, так как там наблюдается удлинение гласного по закону Винтера (слав. **āzъ*), позиция действия которого — перед индоевропейским звонким непридыхательным. Автор не может не знать этого, т. к. абзацем ниже ссылается на статью В. А. Дыбо о законе Винтера ([Дыбо 2002]).

Реконструкция показателей 2-го л., проведенная в гл. 4, сама по себе менее проблематична, чем реконструкция 1-го л., и, возможно, в связи с этим раздел практически не вызывает существенных возражений. Единственное — к уже упоминавшемуся выше возведению местоимения 2-го л. мн. ч. **ye-* к числительному «два»: оно тем более рискованно, что автор не пытается никак объяснить в этом случае, как могла получиться форма прямого падежа с вокализованным **i*: при этом трудно ожидать отпадения **d-*, в отличие от ситуации с **dye-*.

Частности. С. 183: автор говорит о внешнем сходстве древнеяпонских местоимения 2-го л. *si* и указательного местоимения = местоимения 3-го л. *si*; говорит, что это — совпадение, родственное индоевропейскому соотношению, и в качестве примера индоевропейского соотношения приводит слав. **-si* 2-го л. в глаголе и **si-* — ближайшее дейктическое местоимение. Если бы не было употреблено слово «родственное», а имелась бы в виду возможность случайного совпадения, то все было бы в порядке с этим примером (заметим при этом, что интерпретация соответствующих контекстов из *Маньёсю*, сама по себе не является легко решаемой проблемой), за исключением

того, что, приводя пример на еще одно точно такое же случайное совпадение, как в случае *X*, мы заставляем собеседника слегка усомниться в случайности этого совпадения в случае *X*, так что лучше бы мы этого примера не приводили. Если же речь идет о том, что в ностратических языках наблюдается сходство местоимения 2-го л. и указательного местоимения, поскольку они восходят к ПНостр **si* ‘местоимение 2-го л.’ и **šV* (так в [Иллич-Свитыч 1971], ср. [Дыбо 2004: 95, № 31]: **šV*) ‘дейктическое местоимение’, то славянский пример неправильный, поскольку слав. *сь* ‘этот (ближайший)’ восходит к ПИЕ **kī-s*, представленное в лит. *šis* «этот», лат. *cis* «по эту сторону», хетт. *kā-*, *ki-* ‘этот’ и пр.; чтобы не вводить читателя в недоумение, следовало бы приводить, например, санскр. *-sī* в глаголе и *sa-s*, прямую основу указательного местоимения м. р.

С. 193: гипотеза о том, что *-ti* в ПТМ инклюзивном местоимении 1-го л. **munti* является старым местоимением 2-го л., не представленным самостоятельно в ТМ языках, но сохранившимся в монгольском (**mun-*, соответственно, косвенная основа местоимения 1-го л. мн. ч.), высказанная, например, у Рамстедта и повторенная Редди, цитируется автором в слишком, на мой взгляд, уверенной модальности. Это, действительно, вполне вероятно, но возможно и какое-то другое происхождение показателя **ti* (тем более, что **munti* не восстанавливается для ПТМ до первого распада: в маньчжурском *muse* из той же косвенной основы **mun* и обычного местоимения 2-го л. мн. ч.); а для монг. инклюзива **bida*, который на с. 194 вслед за Рамстедтом объясняется из **bi* ‘я’ и **ta* ‘вы’, такое объяснение фонетически незакономерно, интервокальных озвончений в монгольском мы не знаем. См., например, комментарий к этому месту в русском издании Рамстедта, со ссылкой на действительно информативную работу [Kotwicz 1926].

Пятая глава, «Опыт реконструкции парадигмы показателей лица в ностратическом праязыке», начинается с обзора достижений предшественников и краткого методологического манифеста касательно морфологической реконструкции, под которым я готова подписаться обеими руками. В частности, там проговаривается необходимость верификации морфологической реконструкции путем построения обратного прохода от реконструированной системы к рефлексным. Автор действительно делает в этой главе, пусть очень краткую, попытку такого прохода. Как мы уже говорили выше, у него восстанавливается для праностратического (причем для «широкого» праностратического, включающего афразийский и палеоазиатские языки) системное противопоставление местоимения — субъекта переходного глагола и местоимения — субъекта непереходного глагола, как в 1-м, так и во 2-м л. Реконструкция такого противопоставления опирается прежде всего на индоевропейские факты, а именно, на тяготение ларингального показателя 1-го л. и показателя 2-го л. **t-* к перфектной и медиальной подпарадигмам глагола (для перфекта типологически естественно предполагать первоначально стативное значение, отсюда связь с непереходностью). Значения соответствующих показателей в других ностратических языках в случае наличия противопоставления удается вполне успешно проинтерпретировать в этом же направлении. Что касается направления семантических изменений, автор предполагает, что местоименный маркер субъекта непереходного глагола в части случаев обобщился как показатель при стативе, а кое-где стал выполнять роль эмфатического вынесенного в абсолютную позицию личного местоимения (*Who is his father? — Me*). А местоименный маркер субъекта переходного глагола становится универсальным маркером субъекта любого глагола не в стативе. Это все — действительно вполне мыслимые развития. В то же время при полиперсональном спряжении этот маркер субъекта переходного глагола, по мнению автора, логично переходит на роль маркера объекта переходного глагола. Он ссылается при этом на многочисленные типологические параллели такого развития в книге [Corbett & al.: 99–100]. Не имея под рукой книги Корбетта, я не могу оценить точность этих параллелей, но само развитие отнюдь не кажется логичным — предлагается чуть ли не энантиосемический переход без каких-либо промежуточных этапов. Невозможно представить себе синтаксическое развитие, при котором могла бы произойти такая перемаркировка актантов. С другой стороны, такой механизм мог бы объяснить часто предполагаемые диахроническими типологами (но, впрочем, кажется, ни разу не предьявленные) случаи перехода от эргативной маркировки актантов к аккузативной. В общем, логика предполагаемого перехода неясна, а подтверждающие примеры недоступны прямому наблюдению. Дальнейшее развитие основы объектного маркера как общекосвенной основы, впоследствии вытесняющей кое-где из парадигмы супплетивную «прямую» основу субъекта там, где она возникла из бывшего интранзитивного субъектного местоимения, опять же, вполне правдоподобно. Последующие построения по поводу общего происхождения косвенной основы местоимения 1-го л. **nV* вместе с неясного характера местоимением 2-го л. **nV* и показателем косвенной/атрибутивной формы **nV* от пол-

нозначного слова со значением ‘сторона’ возможны, но совершенно не обязательны, во всяком случае, до тех пор, пока мы не убедимся в том, что *V* во всех этих случаях — одна и та же гласная. Пока «омонимия» всех этих морфем основана на совпадении одного элемента.

Параграф о процессах трансформации парадигм местоимений в ностратических языках и параграф о формах множественного числа местоимений написаны совершенно реалистически и содержат много типологически интересных примеров.

А вот к разделу о падежах в ностратическом праязыке у меня находятся существенные возражения. Во-первых, трудно согласиться с тем, что мы имеем какие-то реальные свидетельства того, что праностратический язык был изолирующим. Этого, во всяком случае, нельзя вывести из того, что некоторые морфемы, дошедшие до нас в виде аффиксов, раньше были отдельными словами. Это — результат уже неоднократно упоминавшегося автором процесса грамматикализации, свойственного всем языкам, а не только изолирующим. Просто при настоящем уровне обработки ностратической морфологии мы умеем восстановить только такие случаи. Вполне возможно, что в праностратическом состоянии имела развитая флективная морфология, окончания которой впоследствии затерлись процессами конца слова и заменились новыми, а грамматические чередования в корнях затерлись процессами парадигматической унификации и сохраняются только в нерегулярных случаях соответствия гласных, которые мы на настоящем уровне реконструкции ностратического вокализма либо не видим как нерегулярные, либо относим из осторожности к разным корням. Примеры: английский язык, в котором бывшая флективность видна только в вокализме глагольного корня и других остаточных формах; когда все *took* заменяется на ⁺*taked*, *oxen* на ⁺*oxes*, а (уже) вторичные *feet* на ⁺*foots*, *ee* не будет видно вовсе. Романские языки, если над ними провести морфологическую реконструкцию, что касается именного словоизменения, позволят только — в ряде тонких случаев и в основном с применением старофранцузских форм — понять, что у некоторых слов были прямая и косвенная формы, но никак не восстановить латинскую систему склонения.

Затем, у автора, насколько я могу понять, происходит какая-то путаница с понятием эргативности. Он правильно пишет, что в эргативном языке одинаково маркируются субъект непереходного глагола и объект переходного, и иначе — субъект переходного глагола (с. 237–238). Но почему-то дальше он замечает: «И субъект, и объект всегда маркируются», и рассуждает о том, что, поскольку полиперсональное спряжение для ностратических языков вторично, то праностратический нельзя назвать эргативным языком. Во-первых, множество эргативных языков не имеют полиперсонального спряжения. Во-вторых, они могут и вовсе не иметь личного спряжения, и не обязаны маркировать тождество/разницу актантов внутри глагольной словоформы. Важна именно одинаковость выражения субъекта непереходного глагола и объекта переходного при отличии выражения субъекта переходного — а его-то сам же автор и восстановил для праностратического, и значит, его праностратический либо эргативен, либо активен (в активном языке субъект непереходного глагола маркируется по-разному в зависимости от того, агенс он или пациенс, в первом случае — как субъект переходного, во втором — как объект переходного). Но эта реконструкция, как он сам замечает, вступает в противоречие с довольно хорошей восстановимостью для праностратического показателя прямого объекта (т. е. аккузатива) в отличие от номинатива — эта форма неизвестна эргативным языкам.

Чтобы разрешить противоречие, можно было бы предложить попытаться рассмотреть еще одну возможность реконструкции употребления личных показателей в индоевропейском глаголе. Если предположить, что одна из серий является по происхождению приименными показателями, т. е. посессивными по происхождению, т. е. восходящими к косвенным формам местоимений, а другая — собственно глагольными показателями, восходящими к прямым основам местоимений, то для двух серий ностратических местоимений можно восстанавливать, соответственно, различие прямой и косвенной основ. Возможно, имеет смысл рассмотреть подробнее такую конструкцию.

Книга содержит также краткую библиографию по проблемам дальнего родства и грамматической типологии и — очень удобное для читателя — приложение с парадигмами местоимений и личных показателей в ностратических и пара-ностратических языках (с. 257–295).

В целом следует признать, что, хотя, как я уже писала в начале, нельзя считать, что эта работа окончательно разрешила проблему ностратических местоимений, книга получилась полезная и интересная, написана достаточно профессионально, что выгодно выделяет ее среди многих работ по дальнему родству, а дискуссионность ряда положений только добавляет ей интересности и противодействует застою научной мысли.

- ГАМКРЕЛИДЗЕ, ИВАНОВ 1984 — Тамаз В. ГАМКРЕЛИДЗЕ, Вячеслав Вс. ИВАНОВ. [თ. ბაჟურელიძე, ზ. ივანოვიძე ~ Thomas V. GAMKRELIDZE & VJACHESLAV VS. IVANOV]. *Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры*. Тбилиси: Издательство Тбилисского Университета [*ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები. წინარეებისა და წინარეკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულტიპოლოგიური ანალიზი*]. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა ~ *Indo-European and the Indo-Europeans. A Reconstruction and Historical Typological Analysis of a Protolanguage and a Proto-Culture*. Tbilisi: Publishing House of the Tbilisi State University].
- ДЫБО 1971 — В. А. ДЫБО. Закон Васильева–Долобоко и акцентуация форм глагола в древнерусском и среднеболгарском // *Вопросы языкознания*, 2; стр. 93–114.
- ДЫБО 2007 — А. В. ДЫБО. Реконструкция праогузского спряжения // *Аспекты компаративистики*. Вып. 2 (= *Orientalia et classica XI: Труды Института восточных культур и античности*). М.: Издательство РГГУ; стр. 259–280
- Иллич-Свитыч 1971 — В. М. Иллич-Свитыч. *Опыт сравнения ностратических языков*. Т. 1 (b–К). М.: «Наука».
- МОРЕВ и др. 1961 — Л. Н. МОРЕВ, Ю. Я. ПЛАМ, М. Ф. ФОМИЧЕВА. *Тайский язык (Языки зарубежного Востока и Африки / Под общ. ред. проф. Г. П. Сердюченко)*. АН СССР, Ин-т народов Азии. М.: Изд-во Восточной литературы.
- ОРЕЛ 1990 — В. Э. ОРЕЛ. К происхождению личных местоимений в семито-хамитском // *Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе. Конференция памяти В. М. Иллич-Свитыча*. М.; стр. 54.
- РАМСТЕДТ ГКЯ — Г. РАМСТЕДТ. *Грамматика корейского языка*. М.: «Прогресс». 1951.
- СЕМЕРЕНЬИ 1980 — О. СЕМЕРЕНЬИ. *Введение в сравнительное языкознание*. М.
- СТАРОСТИН 1993 — С. А. СТАРОСТИН. Заметки о древнекитайском языке // *Знак*. Сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике. М.: Русский учебный центр; стр. 93–126.
- СТАРОСТИН 2007 — С. А. СТАРОСТИН. Заметки о древнекитайском языке // С. А. СТАРОСТИН. *Труды по языкознанию*. М.: «Языки Славянской Культуры»; стр. 499–528.
- СУНИК 1978 — О. СУНИК. Местоимения «сам», «свой» и их морфологические дериваты в алтайских языках // *Очерки сравнительной морфологии алтайских языков*. М.; стр. 232–268.
- ХАЙДУ 1985 — П. ХАЙДУ. *Уральские языки и народы*. М.: «Прогресс».
- ХЕЛИМСКИЙ 1982 — Евгений А. ХЕЛИМСКИЙ. *Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели*. М.: «Наука».
- ЭДЕЛЬМАН 1990 — Д. И. ЭДЕЛЬМАН. *Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса*. М.
- BENZING 1955 — J. BENZING. *Die tungussischen Sprachen. Versuch einer vergleichender Grammatik*. Wiesbaden.
- CORBETT & al. — *Heads in Grammatical Theory / Ed. by Greville G. CORBETT, Norman M. FRASER, Scott McGLASHAN*. Cambridge: Cambridge University Press (July 30, 1993).
- DOLGOPOLSKY 1998 — Aharon DOLGOPOLSKY. *The Nostratic Macrofamily & Linguistic Paleontology (Papers in the Prehistory of Languages)*. The McDONALD Institute for Archaeological Research.
- DYBO 2002 — V. A. DYBO. Balto-Slavic Accentology and WINTER's Law // *Studia linguarum*, 3/2, М.; pp. 295–515.
- DYBO 2004 — A. V. DYBO. Some Peculiarities of Altaic Reflexes of Nostratic Sibilants // *Nostratic Centennial Conference: the Pécs Papers / Ed. by Irén HEGEDŰS and Paul SIDWELL*. Pécs: *Lingua Franca* Group; pp. 85–114
- HEINE–KUTEVA 2007 — Heine B., Kuteva T. *The Genesis of Grammar: A Reconstruction*. Oxford, 2007.
- ITABASHI 1998 — ITABASHI Yoshizo [板橋 義三]. The Old Japanese Personal Pronouns as an Etymological Problem // *UAI*, Vol. 70.
- KOTWICZ 1926 — W. KOTWICZ. *Les pronoms dans les langues altaïques*. Kraków.
- POPPE 1955 — N. POPPE. Introduction to Comparative Mongolian Studies // *Mémoires de la Société finno-ougrienne*, 110.
- SIEWIERSKA 2004 — A. SIEWIERSKA. *Person*. Cambridge.
- SINOR 1988 — Sinor D. The Problem of the Ural-Altaic Relationship // *The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences*. Leiden; pp. 706–741.